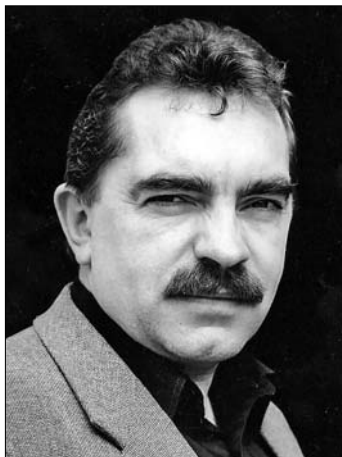


АЛЕСЬ БАДАК



ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

РАССКАЗ

Учитель не может мечтать об идеальном ученике, потому что идеальный ученик всегда лучше учителя, из-за чего тот в глубине души ощущает свое несовершенство. Точно так же, как хирург не может мечтать об идеальном больном, поскольку идеальный больной — это, как известно, тот, кто болен неизлечимо, а какой хирург готов признать свою профессиональную беспомощность?

Впрочем, на свете хватает профессий, представители которых могут мечтать об идеальном потребителе их таланта.

Я помню повара из ашхабадского “Grand Turkmen Hotel”, где мне, участнику международной книжной ярмарки, довелось жить целую неделю. Мне очень понравился вечерний плов, и я сказал повару, назвавшемуся Атамурадом, что хотел бы, чтобы этот вкус узнала и моя жена, поэтому не скажет ли он мне рецепт его приготовления.

Но Атамурад помотал головой:

— Это агурджалинский аш. Чтобы овладеть всеми секретами его приготовления, надо быть туркменом не ближе, чем в пятом колене. А чтобы ощутить его настоящий вкус, надо родиться и вырасти там, где Сумбара впадает в Атрек.

— Почему именно там? — спросил я.

— Потому что оттуда мне привозят шафран и ажгон, которые добавляются в агурджалинский аш. Потому что там пасутся бараны, мясо которых

БАДАК Александр Николаевич родился в 1966 году в д. Турки Ляховичского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет. Работал в периодических литературных изданиях. Автор сборников поэзии “Будзень”, “За ценом самотнага сонца”, “Маланкавы посах” и др. Директор издательства “Мастацкая літаратура”. Живет в Минске.

идёт на агурджалинский аш. Потому что я родился там. Каждый раз, когда готовлю агурджалинский аш, я с нежностью и любовью вспоминаю свои родные места, и эти любовь и нежность придают блюду особенный привкус, который ощутит только тот, кто, как и я, родился и вырос там, где Сумбара впадает в Атрек.

Атамурад мечтал об идеальном посетителе ресторана “Grand Turkmen Hotel”, который мог бы ощутить в его блюдах привкус любви и нежности, а я мечтаю о своём идеальном читателе.

Написав несколько страниц будущей книги, я люблю выйти из квартиры и в городских парках и скверах, на улицах и проспектах, в магазинах и кофейнях, в автобусах и метро наблюдать за людьми, пытаюсь по лицам узнать того, для кого, в первую очередь, эта книга пишется. Того, кто безошибочно может определить, над какими страницами я мучился больше всего, а в каких местах делал паузы во время работы, чтобы прогуляться по городу.

Идеальный читатель признаёт только оригинал, а не перевод, что значительно сужает пространство моих поисков, а значит, увеличивает шансы найти его. С другой стороны, это пространство сегодня уже слишком мало, чтобы в нём обязательно мог появиться идеальный читатель, и с каждым годом оно сужается всё больше.

Да, я пишу на языке, на котором поэзию и прозу читает не слишком много людей.

Я знаю, что сказал бы на это Атамурад: “Чем чаще видишь людей с хот-догом в руках, тем более вкусный аш мне хочется приготовить”.

Я спросил Атамурада, когда однажды мы сидели с ним на лавочке возле памятника поэту Караджаоглану, думает ли он о том, что у него в действительности не так-то много шансов встретить в ресторане того, кто родился и вырос там, где Сумбара впадает в Атрек, поскольку подавляющее большинство постояльцев “Grand Turkmen Hotel” — приезжие из других стран. На что Атамурад ответил:

— У того, кто ждёт, четыре пары глаз, и он одновременно смотрит в четыре стороны света. У того, кто перестаёт ждать, нет ни одной пары. Я редко разговариваю с посетителями ресторана, поэтому не могу наверняка знать, был ли среди них тот, кто родился и вырос в долине Атрека. Возможно, он был вчера, но был слишком голоден и в дурном настроении. Голодные, как и те, что садятся обедать без настроения, не могут почувствовать настоящей вкус еды. А может, он сидит в ресторане сейчас или придёт завтра. Поэтому каждый раз я готовлю аш для прошлого, для будущего и для сегодняшнего дня. Ожидание помогает держать себя в форме. Я боюсь потерять свою работу не из-за того, что больше ничего не умею, а потому, что тогда перестану ждать.

Атамурад помолчал, будто бы до мельчайших подробностей восстанавливая в памяти один из эпизодов своей жизни, а после вспомнил, как познакомился с выдающимся, по словам рассказчика, белорусским пианистом Валентином, который так и не дождался своей славы на большой сцене. В Ашхабад он приехал вместе с братом Андреем, который тут служил офицером перед самым развалом Советского Союза и у которого тут осталась дочь Марина — она вышла замуж за туркмена. Квартиры Атамурада и Марины разделяла одна стена, пропускавшая звуки так, как листва деревьев пропускает солнечные лучи. Благодаря этому уроки игры на пианино, которые по выходным давала её дочке семидесятилетняя Вазига (о ней говорили, что она положит в пустой кошелек копейку, а достанет из него рубль), давались его сыну даром.

Сам Атамурад хоть и любил музыку настолько, что не пропускал ни одной премьеры в оперном театре, нотной грамоты чурался, поскольку считал, что у человека может быть только одно призвание. Это та работа, о которой думаешь всё время, даже во сне, и как нельзя в одном казане одновременно готовить ыштыкму и аш, так нельзя одновременно думать о разной работе.

Однажды вечером Атамурад услышал, как за стеной кто-то начал играть на пианино. Это была не соседская дочка и не семидесятилетняя Вазига: играли не просто профессионально, а виртуозно. Причём звучал фортепианный концерт Равеля для левой руки. Последнее обстоятельство особенно заинтриговало Атамурада, поскольку тому, у кого две руки и десять пальцев, играть

музыку, написанную для одной руки — такая же дурная примета, как здорому на обе ноги ходить на костылях.

Атамурад подхватился со стула — и через минуту уже стоял перед Валентином. Когда они знакомились, Атамурад, не отрываясь, смотрел ему в глаза, но рукопожатие выдало, что у Валентина на правой руке не хватает безымянного пальца.

Как человек, у которого есть настоящее призвание, о котором он думает даже тогда, когда говорит совсем о другом, Валентин во всём слышал музыку и на всё смотрел глазами музыканта. В последний день перед возвращением в Минск он испек большой бисквитный торт и попросил Марину позвать на прощальный ужин Атамурада. Торт имел вид размещённых по спирали клавиш пианино — 52 клавиши были белого и 36 — красного цвета. Над последней — “до” пятой октавы — возвышался шоколадный скрипичный ключ. Валентин сказал, что каждая из клавиш имеет свой вкус, как каждая клавиша в действительности — свой звук. Чтобы почувствовать настоящий вкус торта, нужно ложечкой зачерпывать от них в той последовательности, в какой нажимаются клавиши при исполнении определённой мелодии одной рукой. Разные мелодии придавали тарту свою вкусовую особенность.

Когда Валентин рассказал это присутствующим, за столом повисло молчание. Мало того, что никто, кроме Валентина и Мариной дочки, не знал нотной грамоты, каждый из присутствующих не мог отважиться первым ложечкой взять общий торт.

И тут из-за стола подхватилась Марина. Она полоснула по беззвучным клавишам ножом.

Атамурад увидел, как вздрогнула правая рука Валентина.

— А я предлагаю... — звонко сказала Марина и смолкла, не закончив фразы: её дочка подхватилась из-за стола и бросилась к дверям.

— Что такое? — крикнула ей вдогонку Марина. — Дядя Валентин пошутил! Какие ноты, какая мелодия?!

Я спросил у Атамурада, знает ли он, где теперь Валентин и чем занимается.

— К сожалению, я не уверен, что он живёт счастливо, чтобы спрашивать о нём у Марины, — сказал Атамурад. — Люди сами рассказывают про свою родню, когда у тех всё хорошо, и стараются обойти эту тему, когда всё плохо. Валентин называл себя музыкантом, у которого прошлого больше, чем настоящего, поэтому я не знаю, где и кем он теперь работает, но если у меня спросить, кто такой Валентин из Беларуси, я, не раздумывая, отвечу: в первую очередь — выдающийся пианист, а всё остальное не имеет большого значения.

Я посмотрел на руки Атамурада, напоминавшие руки двадцатилетнего юноши.

— Может, он стал хорошим поваром?

— В его торте слишком много музыки, — с улыбкой помотал головой Атамурад. — А это то же самое, как если в агурджалинский аш добавить слишком много перца.

подавляющее большинство писателей мечтает о своём массовом читателе, и только немногие грезят о читателе идеальном, прекрасно понимая, что идеальных (это значит, талантливых) не намного больше, чем талантливых писателей. К сожалению, слишком часто отыскать одного человека труднее, чем найти тысячи людей. Был ли такой читатель у Купалы — тот, кто, прочитав в 1925 году его строки:

*Мне бацькаўшчынай цэлы свет,
Ад родных ту я адварнуўся...
Адно... не збыў яшчэ ўсіх бед,
Мне сняцца сны аб Беларусі* ,*

*Отчизной мне весь белый свет,
От нив родных я отвернулся...
Но... не избыл ещё всех бед,
Мне снятся сны о Беларуси.
(Перевод А. Тьяловского)

предчувствовал (как и сам автор, когда писал их), что поэта ждёт ранняя смерть?

Идеальное чтение напоминает настоящую любовь: при нём взгляд бегаёт по словам, будто по телу, и, прежде чем проникнуть вглубь текста, чтобы получить от этого наивысшее наслаждение, он получает наслаждение от созерцания того, как построены фразы и поделён текст на абзацы.

Нетрудно догадаться, что идеальное чтение, как и любовь, может явиться не сразу, не с первого знакомства с текстом, а идеальный читатель со временем может остыть к своему любимому автору и увлечься другим.

Наконец, что тоже очень важно, чтобы иметь своего идеального читателя, обязательно быть гениальным писателем, потому что приверженность к творчеству конкретного автора порой бывает столь же необъяснима и непредсказуема, как и любовь. Правда, надо признать, что многие, когда берут в руки новую книгу, сначала обращают внимание на яркую обложку, а не на имя автора, которое скоро забудут, поскольку чтение для них — возможность избавиться от лишних минут, как от мелких купюр, что отягощают кошелек и из-за чего они покупают совсем не нужные вещи. Так какой-нибудь юнец с несдержанной плотью в первую очередь обращает внимание на девичьи формы, а имя девушки, нужной ему на одну ночь, может забыть очень скоро.

Часто, гуляя по городу, я перебираю в памяти слова, будто гальку для мозаики: я подбираю их друг к другу и складываю в фразы, чтобы после вложить их в уста своих героев. Бывает, слов аж в избытке; бывает, наоборот, их не хватает; но и в первом, и во втором случае далеко не каждый раз удаётся составить фразы, которые после не рассыпались бы на отдельные слова — так, как это всегда бывает с банальными фразами.

Однажды, через три года после поездки в Ашхабад, во время таких прогулок я почувствовал, что во мне звучат не слова, а музыка, и фразы для моих героев превращаются в ноты. Я вспомнил мелодию: это был концерт ре-мажор Равеля для левой руки, написанный им за несколько лет до того, как он перестал узнавать собственную музыку. У меня есть запись этого концерта в исполнении Пауля Витгенштейна и Королевского оркестра Концертгебау, но в этом случае звучал один рояль. И я догадался, что это играл Валентин, которого я никогда не видел.

Только теперь я понял, что последние три года не просто не забывал о Валентине, но подсознательно хотел встретиться с ним. Почему же только теперь я осознал это? Наверное, потому что все годы после поездки в Ашхабад я думал так, как думал Атамурад: убивая в человеке мечту, невозможно не попасть в сердце. И тогда можно догадаться, чего боялся Валентин.

В истории музыки широко известно имя австрийского пианиста Пауля Витгенштейна. Завистники говорили, его пальцы заряжены такой энергетикой, что во время игры на фортепиано они не касаются клавиш, и в этом секрет его виртуозной игры, но тут не обошлось без помощи дьявола. В качестве аргумента они приводили тот факт, что после того, как Витгенштейн на Первой мировой войне потерял руку, одной левой он играл лучше, чем до того обеими, а левая рука, как известно, считается нечистой, и то, что делается ею, делается с помощью дьявола.

Витгенштейн, несомненно, был лучшим из всех известных в истории одноруких пианистов, но не первым, поскольку первым был венгерский граф Геца Зичи, который в 1863 году подростком потерял на охоте правую руку, но оттого не потерял желаний стать известным пианистом, почти пять лет брал уроки у Ференца Листа и после выступал с ним на пару, переложив листовский “Ракоци-марш” для исполнения в три руки. Главное, чего добивался Лист от своего ученика, — нужно слушать не рояль, а собственную душу, ибо не рояль должен рождать звуки, а душа пианиста. И правда, как свидетельствовали современники Листа, когда на сцене стояли только два рояля, за которыми были он и Зичи, казалось, что играет целый оркестр.

Однако Зичи не умел того, что умел Витгенштейн, и это не позволило венгру стать лучшим одноруким пианистом мира. Когда он начинал играть,

зрители всегда поражались тому, как виртуозно он играет одной рукой. Когда начинал играть Витгенштейн, зрители превращались в слушателей и забывали, что у него только одна рука.

Возможно, однажды думал я, гуляя по городу и неосознанно бросая взгляд сначала на руки прохожих, а потом на их лица, Валентин знал обо всём этом и боялся, что в наш прагматичный и циничный век разговоры о его покалеченной руке всегда будут идти впереди разговоров о его игре, а сочувствие к нему всегда будет находиться впереди восхищения.

Впрочем, а почему бы за эти годы, которые в нашей жизни многое изменили, он не мог заняться бизнесом? Да и мало ли кем он мог стать сегодня в мире, где больше всего ценится умение зарабатывать деньги, а значит, вероятность встретиться с ним у меня такая же, как вероятность того, что воробей, который сейчас сидит на городском фонаре, на лету поймает клювом дождевую каплю. Это может случиться через мгновение, а может не случиться никогда.

А вообще, думал я дальше, переступив порог своей квартиры и раскрывая зонт, чтобы быстрее высох, — а вообще, какое мне дело до какого-то Валентина, которого я никогда не видел, никогда не слышал, как он играет, и кто знает, понравилась ли бы мне его игра, как, впрочем, и он сам.

Я подошёл к книжному шкафу и поглядел на поставленные в ряд четыре книги Милорада Павича. Некогда мне восхищённо рассказала о нем знакомая журналистка, которая в правительственной газете ведёт колонку мини-обзоров новых книг и, надо сказать, делает своё дело виртуозно, хоть это не обязывает меня соглашаться с теми оценками, которые она даёт очередной новинке. Поэтому, услышав из её уст хвалебные слова в адрес Павича, я не бросился тут же в ближайший книжный магазин, а только многозначительно улыбнулся. Разумеется, это имя я слышал и до неё, знал, что Павич в новейшей литературе считается одним из главных мифотворцев и что он придумал в ней новое направление: нелинейную прозу. Но к разным постмодернистским штучкам я отношусь настороженно и слишком хорошо знаю силу рекламы, поэтому, многозначительно улыбнувшись, я предложил своей знакомой:

— Повтори какую-нибудь фразу, придуманную им.

Она прикрыла глаза, будто не хотела, чтобы эту фразу я прочитал в них прежде, чем она её произнесёт, и через несколько секунд сказала:

— “Время, как мяту, можно посеять, и оно прорастёт”.

В тот же день я купил четыре книги Павича, не раскрывая, поставил их в ряд в книжный шкаф и пробормотал самому себе: “Время, как мяту, можно посеять, и оно прорастёт”. Для чтения хорошей книги нужно подбирать соответствующий момент, созвучный твоему состоянию души, и я понял, что этот момент для меня ещё не пришёл. Тем не менее, в компаниях знакомых литераторов я начал уверенно говорить: “Павич, несомненно, один из самых ярких прозаиков двадцать первого столетия”, — и вспоминал его фразу, которую некогда услышал из уст обозревательницы правительственной газеты. Эта фраза часто оживала в моей памяти, и каждый раз она мне казалась не такой, как раньше, поэтому каждый раз с неё можно было начинать новый сюжет. Я подумал, что постепенно становлюсь идеальным читателем Милорада Павича, при том, что пока не прочитал ни единой его книги. Я всё отказывал себе в этом удовольствии, чтобы как следует изголодаться по нему, пока однажды не понял, что уже боюсь браться за него, поскольку боюсь в нём разочароваться, потому что тот Павич, который сложился в моём представлении, в действительности может оказаться совершенно иным, не моим, пыскай себе и трижды талантливым.

Не так ли я боялся разочароваться и в Валентине?

Однажды после душной июльской ночи, когда кажется, что подушка может обжечь щеку, меня разбудил мобильник.

— Привет! Можешь говорить?

Говорить? Казалось, я лишь минуту назад наконец заснул, поэтому то, что мне хочется сейчас сказать тому, кто ждёт от меня ответа, лучше не

знать. Но говорить, тем более женщине, в большинстве случаев нужно то, что она хочет услышать от тебя.

— Ты на работе?

Какого дьявола мне делать на работе в первый день своего отпуска?!

— Ой, прости! Я хочу сегодня пригласить тебя на обеденный прямой эфир.

Ясно. На прямой радиоэфир договариваются загодя, хотя бы за несколько дней. Значит, кто-то пообещал, но не смог. Я сам 14 лет работал на радио, знаю, что чувствует автор программы в таких случаях, поэтому сразу прикидываю, во сколько мне надо выехать из дома. Часа за полтора — чтобы не опоздать. Однако в действительности выхожу за два, на станции “Площадь Якуба Коласа” поднимаюсь из метро, чтобы пройти пешком по проспекту Независимости до Дома радио. Мне надо настроиться на радиобеседу.

Я иду по проспекту против тёплого потока солнечных лучей. Я бросаю взгляд на незнакомых мне людей, на минуту задерживаю их в памяти и представляю своими слушателями. Я думаю, что им сказать.

Много лет тому назад, когда я учился на филфаке БГУ, мой друг и однокурник Мирослав советовал мне, как сдавать экзамены по литературе: если тебе выпал несчастливый билет, старайся переключиться на то, что хорошо знаешь, и втянуть преподавателя в диалог.

На экзамене по классической русской литературе мне попался Достоевский. Не сказать, чтобы я плохо знал его творчество, однако же это был любимый писатель моего экзаменатора. А в отношении к своим любимым часто проявляют ревность, которая в этом случае могла повлиять на мою оценку, поскольку ревнивцам угодить очень трудно. Поэтому я не стал рисковать и сначала выразил восхищение романами Федора Михайловича, при этом подчеркнув, что наше отношение к нему — вопрос, прежде всего, духовного, а не эстетического характера. А вообще, продолжал я, когда решил, что самое время начать отдаляться от Достоевского, наибольшее обогащение от чтения литературных произведений мы получаем не посредством знаний, а посредством веры. Духовное начало в художественном слове — самое мощное, поэтому оно наполняет нас, прежде всего, верой, а не знаниями. А вера, в отличие от науки, того же литературоведения, сближает разные по своему масштабу величины, показывая их отличия в той плоскости, в которой наука показать не в состоянии. Поэтому, с точки зрения духовного восприятия, мы можем сказать, показывая разницу между ними: Пушкин — для всех, а Лермонтов — для каждого.

После этих слов преподаватель, который всё время, пока я говорил, смотрел в мой билет, будто сверял то, что я рассказываю, с тем, что там написано, резко поднял голову, наши взгляды встретились, и за несколько мгновений до того, как он сказал, что ставит мне “отлично”, это решение я прочитал в его глазах.

Позже я не раз пользовался советом своего друга Мирослава в самых разных ситуациях, как, например, в нынешней: я не знаю, о чём меня будут спрашивать радиослушатели, но я уверен, что обязательно расскажу им историю про Валентина.

Я поднимаюсь на второй этаж Дома радио за 40 минут до начала эфира. На сердце легко, словно вместо него воздушный шарик. Я знаю, почему: есть шанс, что на эту передачу отзовётся кто-то, кто знает Валентина. А может (хотя вряд ли, конечно), он сам.

Я останавливаюсь возле двери с табличкой “Руководитель литературно-музыкальных проектов Татьяна Якушевич”. В её кабинете с правой стороны у стены стоит пианино “Беларусь”; стоит ещё с тех времён, когда мы не знали ни компьютеров, ни интернета, и композиторы приходили на радио не с CD или флешками, а с нотными листами, и, сев за это пианино, показывали музыкальному редактору свои новые песни. Крышка откинута, и мне кажется, что в воздухе ещё можно уловить последние звуки мелодии, которую тут недавно играли.

— Скажи, пожалуйста, — спрашиваю я у Татьяны и при этом внимательно гляжу на клавиши пианино, — возможно ли испечь торт в виде клавиш?

Татьяна удивлённо и, как мне кажется, настороженно смотрит на меня. Я думаю, она боится, что я недоволен своим вынужденным появлением на радио во время отпуска, поэтому могу нести в эфире всякую чушь. И я рассказываю ей про Валентина. Она слушает, но видно, что в то же время думает о чём-то своём. Её глаза смотрят мимо меня. Мне кажется, она думает, что всю эту историю я выдумал по дороге на радио. Если так, я не буду рассказывать в эфире про Валентина.

Наконец наши взгляды встречаются, и Татьяна говорит:

— Знаешь, Валентин — это мой брат.

Я сидел в небольшой, четыре на шесть, комнате, где в каждой вещи жила музыка. Она не исчезала насовсем, когда смолкал рояль, как не исчезает насовсем ничто и никогда, а переходила в другое состояние, неуловимое для слуха. Присутствие музыки ощущалось скорее физически, стоило дотронуться до стола, до нотных листов на нём. Она не исчезала насовсем, поэтому всё более накапливалась тут с годами, и теперь уже любые звуки в комнате казались музыкой.

Я сидел в широком кожаном кресле напротив окна, и лицо Валентина то темнело, когда он поворачивался ко мне, то светлело, когда склонялся над роялем и левой рукой легко, будто глядя, проводил по клавишам. Это был так называемый кабинетный рояль немецкой фирмы August Forster, славившейся чистотой звуков своей продукции. Мне не нужно было рассказывать Валентину всю предысторию нашей встречи. Несколько дней тому назад за меня это сделала Татьяна. Правда, не знаю, насколько её пересказ соответствовал истине: одни и те же слова, произнесённые разными людьми, порой несут разную информацию.

— Есть люди, перед которыми самоуверенность раскрывает новые высоты, а есть те, кого она заводит в тупик. Мне кажется, я своевременно разглядел этот тупик впереди своей дороги, чтобы ещё успеть свернуть на иную, — Валентин кивнул в сторону синтезатора Casio на высоких ножках, стоявшего рядом с роялем. — Я стал аранжировщиком, и на хлеб мне хватает. И дело не в этом, — он приподнял с клавиш и тут же опустил на них правую руку, на что они отозвались жалобным лязгом. — Просто я не выдающийся пианист по своей природе.

— Ты мог бы стать лучшим белорусским пианистом, но стал лучшим аранжировщиком, — Татьяна принесла мне чашечку кофе и поставила на столик из чёрного стекла, рядом с креслом, а сама снова вышла из комнаты, вероятно, чтобы не мешать нам.

— Атамурад — чудесный слушатель с превосходным прирождённым слухом! Благодаря своей соседке Вазиге он неплохо усвоил теорию музыки и при этом не научился слушать сердцем, а не разумом. Однако он не знал одного секрета моей игры.

Валентин сказал эти слова с улыбкой, будто в шутку, но я был убеждён, что сейчас услышу нечто важное для себя.

— Я левша. А левше концерт для левой руки играть значительно проще. Вот и всё.

Признание Валентина для меня было полной неожиданностью.

— Скажите, вы слышали о том, что для левшей характерно так называемое одновременно-визуальное мышление, в то время как у правшей преобладает мышление линейно-последовательное? Например, правша берёт в руки роман, читает первое предложение, анализирует его, потом читает следующее, анализирует. Предложения, как бусины, по очереди нанизываются на нитку сюжета, и правша, пока не отложит или не закончит чтение, на каждом этапе держит в сознании только ту мизерную частичку романа, на которую направлен его взгляд. Тот, кто делает бусы, увлечён работой, держит взглядом только те бусины, которые в этот момент нанизывает на нитку. Левша одновременно и читает, и анализирует роман. Для него

роман — это не бусы, а... ну, скажем, новогодняя ёлка, которую ему, с подсказками автора, разумеется, нужно украсить предложениями-бусинками. На каждом этапе он видит и оценивает её всю, его мысли идут не строго следом за развитием действия романа. Они то возвращаются назад, на предыдущие страницы, то пытаются спрогнозировать то, что может происходить в романе дальше. Мне кажется, идеальный читатель обязательно должен быть левшой.

Я сделал короткую паузу, чтобы убедиться, что мои слова у хозяина квартиры не вызывают иронии. Мне хотелось, чтобы Валентин спорил или соглашался со мной, но он молчал, с чуть заметной улыбкой, смотрел в пол и ритмично кивал головой, будто в такт мелодии, звучащей в нём.

— Не мне вам рассказывать, что пианист-правша и пианист-левша технически одинаково хорошо справляются с самыми сложными произведениями, например, транскрипциями Листа. При условии, конечно, что они оба одинаково хорошо подготовлены, — на всякий случай уточнил я. — Но во время игры правша своими мыслями только дублирует движения пальцев рук в той последовательности, в какой от них этого требует клавиш. Поэтому он слышит то, что в этот момент выдают клавиши рояля — не больше и не меньше. А левша слышит произведение целиком, сразу в трёх измерениях — в прошлом, в настоящем и в будущем — и это делает его игру более оригинальной, виртуозной, и каждый раз она в его исполнении звучит по-другому. Что касается вас — тут ещё более интересный и редкий случай, который вносит неповторимость в вашу игру, в ваш талант, понимаете? Мы не говорим об оперном певце: у него талантливый голос. Мы говорим: талантливый оперный певец. Потому что талант не в голосе. Талант творца — в его душе, о которой мы за миллионы лет своего существования так ничего и не узнали. Можно только сказать, что она заполняет всё наше тело, как кровь заполняет жилы, и остро реагирует на все его проблемы. Поэтому Ван Гог до того, как отрезал себе мочку уха, и Ван Гог после того — в определённом смысле разные художники. Как есть два Бетховена — тот, у которого нормальный слух, и тот, который слух утратил. Причём второй Бетховен создал более знаменитые произведения, чем первый. Как, к слову, и Ван Гог. Но я пришёл не ради того, чтобы услышать вашу, не сомневаюсь, замечательную игру. Наверное, правильней сказать: ради того, чтобы перестать слышать её. С того времени, как мне рассказывали о вас Атамурад, она часто звучит в моём представлении: Равель, Брамс, Прокофьев — та, что композиторы писали для левой руки. Причём звучит в самые неподходящие моменты: когда я сажусь за стол и начинаю работать над своей новой книгой. Она стала мешать моим мыслям, и я понял: чтобы музыка перестала звучать, мне нужно познакомиться с вами...

Когда я поднялся с кресла, чтобы попрощаться, было уже поздно.

Не знаю, почему, но в тот момент я был убеждён, что наша с Валентином встреча — первая и последняя. А главное, мне почему-то этого хотелось. Он стоял передо мной слегка поникший, но всё с той же неизменной, чуть заметной улыбкой на губах, значительно ниже ростом, чем я его представлял, в серых тапочках на босу ногу, а я глядел на его со вчерашнего дня небритое лицо, на котором неровно росла рыжая щетина, и думал о том, что вижу другого Валентина, не того, которого помнил Атамурад. Это был человек, у которого от своего прошлого остались одни зачерствелые крошки, и ему хотелось смахнуть их с памяти, как со стола.

Оставалось последнее, что я хотел узнать от Валентина.

— Скажите, как вам пришла в голову идея испечь торт в виде клавиш рояля?

Валентин, казалось, был рад вопросу.

— Это не совсем моя идея. Есть такой известный на весь мир итальянский шеф-повар Антонио Корлуччи. Он издал книгу “Паста и опера”, где описал семнадцать рецептов блюд, к ней прилагается диск с семнадцатью знаменитыми итальянскими операми. Корлуччи рекомендует конкретные блюда готовить и есть под конкретную оперу, только тогда они приобретают необычайный вкус.

Татьяна проводила меня до автобусной остановки.

— Ну как? — спросила она.

— Спасибо за знакомство с братом, — сказал я. — Он правда много аранжирует?

— Да. В последнее время ему даже поступают заказы из Москвы.

— О, это большие деньги!

Я слышал, что “для Москвы” стремятся работать многие наши молодые музыканты, однако в тамошнем шоу-бизнесе всё куплено и поделено на сферы влияния, поэтому пробиться туда кому-то со стороны почти невозможно.

— Кстати, он аранжировал “Вольную птушку”.

Я не слишком люблю современную популярную музыку, однако эта песня не выходила из моей головы всю дорогу после прощания с Татьяной. Дело в том, что песня “Вольная птушка”, которая в последние месяцы ежедневно звучит на всех белорусских FM-станциях, была написана на мои слова.

*Перевод с белорусского
Андрея ТЯВЛОВСКОГО*